

УДК 82.09(075.8)

ОНТОЛОГИЯ «РЕЛЯТИВНОСТИ» В НЕКЛАССИЧЕСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (К ВОПРОСУ О НОВОМ ТРАДИЦИОНАЛИЗМЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА)

Скляр О.Н.

НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», Москва, Россия (115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23 Б), e-mail: pstgu@pstgu.ru

Статья посвящена онтологическим аспектам семантики художественного слова в неклассической литературе. В центре внимания автора проблема соотношения между популярным тезисом о многозначном, семантически «открытом», «вероятностном» характере неклассического высказывания и идеей объективно-бытийной общезначимости культурных смыслов. Дается краткий обзор ряда литературоведческих концепций, имеющих отношение к данной проблематике; некоторые работы подробно анализируются. Методологической основой ключевых положений и выводов статьи являются теоретические разработки проф. В.И. Тюпы, касающиеся типологии ментальностей в неклассической культуре. Важнейшие наблюдения и обобщения делаются на материале русской постсимволистской поэзии XX века. На конкретных примерах из художественных текстов вскрывается природа диалогичности и «аллюзивности» поэтического слова, проводится концептуальное разграничение между релятивностью и релятивизмом творческого мышления.

Ключевые слова: неклассическая литература, постсимволистская поэзия, смыслообразование, семантика, релятивность, релятивизм, дивергентное мышление, инспиративность, аллюзивность, конвергентное мышление, неотрадиционализм.

THE ONTOLOGY OF «RELATIVITY» IN NON-CLASSICAL LITERATURE (ON THE QUESTION OF NEO-TRADITIONALISM IN RUSSIAN POETRY OF THE XX CENTURY)

Sklyarov O.N.

St. Tikhon Orthodox Humanitarian University, Moscow, Russia (115184, Moscow, Novokuznetskaya street, 23 B), e-mail: pstgu@pstgu.ru

The Article is devoted to the semantic's problems of artistic expression in non-classical literature. In the center of author's attention there is a question about the correlation between the popular thesis of the ambiguities of non-classical statements and the idea of obstacle cultural meanings. Methodological basis of the key provisions and conclusions of the article are theoretical developments of professor V. Tupa. The most important observations and generalizations are made on the material of Russian postsymbolic poetry of the XX century. Dialogic's phenomenon of poetic word is demonstrated on the examples from artistic word. The distinction is drawn between relativity and relativism in creative thinking.

Keywords: non-classical literature, postsymbolic poetry, semantics, relativity, relativism, divergent thinking, convergent thinking, neo-traditionalism.

Концепт «релятивности» ныне является одним из ключевых в числе категорий, описывающих структуру неклассического сознания. Причем разница между а) пониманием релятивности как многоуровневого характера современной эпистемологии, обусловленного множественностью способов описания реальности, и б) пониманием её как произвольности и условности (в конечном счете – абсурдности) всякого знания, мышления, описания¹ – не

¹ К. Манхейм, предвидевший эту путаницу, предлагал обозначать потенциальную относимость явления к разным оценочным системам с помощью терминов «реляционирование», «реляционность», которые подразумевают не произвольный характер суждения (релятивизм), но познавательное «приближение к подвижному объекту с подвижных позиций» [8; 87]. Понятие «реляционности» впоследствии активно использовал Ю. Лотман (в кн. «Структура художественного текста» и др. работах).

всегда акцентируется и даже, по-видимому, не всегда до конца осознается. Это неразличение (или недостаточное различение), с одной стороны, факта «неэвклидовой» многомерности бытия и, с другой стороны, своеобразного гносеологического отчаяния, дающего простор для безответственной игры смыслами, нередко проецируется и в сферу художественной семантики. От этого несколько не застрахованы даже самые серьезные исследователи, не склонные в принципе к намеренному отождествлению а) откровенного субъективизма, культивирующего безбрежную окказиональность художественных значений, и б) рискованного поиска форм неклассической, *индуктивной* конвенциональности, допускающей художественную полисемию, антиномичность, амбивалентность, вероятностность смыслополагания, но всё же исходящей из необходимости и безусловной возможности взаимопонимания. Причем взаимопонимания, основанного не на мимолетном «сочувствии» (эмпатии) онтологически разобщенных, во всем усомнившихся коммуникантов, а на признании общего для всех аксиоматического базиса – объективной «системы координат», в пространстве которой могут быть совмещены нетождественные «картины мира» участников диалогического взаимодействия.

Более двадцати лет назад на страницах «Нового мира» имела место мимолетная дискуссия, один из ее участников которой прозаик и эссеист А. Генис, говоря о наполненности литературного процесса XX столетия непрерывной борьбой различных вариантов «романтизма» и «классицизма», утверждал, что все усилия новых «классиков» привести в хаотическую действительность ясный смысл потерпели неудачу. «И если подводить итог этой долгой битвы, – резюмировал автор, – то победителем окажется не классицистская “правда”, а романтическая “свобода”, которой XX век нашел свой синоним – абсурд» [2; 218]. Оппонентом Гениса выступила И. Роднянская. В ее полемическом отклике, в ряду прочих контрдоводов, прозвучало возражение, которое, на наш взгляд, позволяет совершенно иначе провести основную линию размежевания в словесности обозначенного периода. По её словам, «...*вносит*, привносит смысл во вселенную только релятивист с целью более удобного ее описания; прямо противоположная позиция – предполагать во вселенной *наличие* смысла... и *искать* его усилиями ума, сердца и воли» [9; 223].

Как видим, Роднянская скорее склонна разграничивать позиции а) тех, кто верит в изначальную осмысленность бытия, и б) тех, кто не верит и в лучшем случае допускает самочинное продуцирование смыслов усилиями субъективного сознания. Следует признать, что подобный ракурс рассмотрения действительно избавляет от необходимости в противопоставлении *истины* и *свободы*, поскольку первая, перестав быть априорно-принудительной, обладая всей полнотою *таинственности* (в этом кардинальное отличие неклассического переживания истины от прежнего, традиционалистски-нормативного),

взывает к персональной инициативе суверенного творца, тогда как вторая, отвергнув соблазны релятивизма, сознательно вводится (ее зрелыми носителями) в нерасторжимую связь с онтологической ответственностью.

Нельзя не заметить, однако, что непримиримая антитеза творческой автономии художника (с одной стороны) и идеи иерархически-осмысленного миропорядка (с другой) оказалась куда более востребованной в эпоху постмодерна, нежели гипотеза об органичной бытийной сопряженности того и другого. Своеобразными модификациями данной антитезы в области аксиологии искусства стали такие популярные в постклассическое время оппозиции, как «свобода – преемственность», «индивидуальное – всеобщее», «экзистенциальное – априорно-дедуктивное», «инновационность – конформизм» и т.д. Недостаточная продуктивность такого рода дихотомических моделей, на наш взгляд, обусловлена тем, что неклассическое мышление в них заведомо противопоставляется логоцентричным постулатам традиции, а персональная творческая инициатива едва ли не приравнивается к «поэтике произвола». Как следствие, современной культуре вольно или невольно навязывается вышеупомянутая, в сущности, мнимая и вредная, необходимость решительного выбора между *свободой* и *истиной* (т.е. презумпцией прочного бытийного Смысла, удостоверяемого авторитетом культурного предания).

Глубинное несогласие с подобной альтернативой предопределяет наш интерес к идеям и концепциям, в которых присутствует стремление нащупать в пространстве новейшей русской словесности такие «месторождения» или линии развития, которые, будучи причастны постклассическому сознанию модерна, тем не менее, не только не порывают с традиционным культурным тезаурусом, но – напротив – с новой силой актуализируют логосное (смыслоцентричное) мышление и структурирующие его изнутри классические универсалии и «вечные» аксиологемы. Одними из первых в ряду литературоведческих моделей, преследующих эту задачу, были гипотезы о *неоклассицизме* и *неореализме*². Однако при всей их несомненной научной плодотворности, в них сравнительно мало внимания уделяется той существенной особенности неклассических художественных стратегий, которая находит свое проявление в диалогичности и эвристической индуктивности смыслообразования.

² Идея о *новом классицизме* в постсимволистской (преимущественно акмеистской) поэзии в той или иной мере была близка В. Жирмунскому, К. Мочульскому, В. Вейдле. Гипотеза о *неореализме*, осторожно высказанная Жирмунским в статье 1916 г. «Преодолевшие символизм», в послереволюционные годы активно выдвигалась Е. Замятиным, а начиная с 70-х годов успешно разрабатывается В.А. Келдышем.

Названный пробел, на наш взгляд, в значительной мере восполняется в работах В.И. Тюпы о *неотрадиционализме* и о неориторическом «дискурсе ответственности»³. Диалогический характер взаимодействия автора и читателя (как участников *дискурса*) ученый маркирует посредством терминов «инспиративность», «вероятность», «аллюзивность» и т.д.[11; 140]. В сущности речь идет о факторах *адресованности* и *рецептивности* в семиогенезе, выдвинувшихся на первый план в искусстве модернизма, и о сугубо коммуникативном, «интерактивном» характере неклассического письма [11; 49–66]. Эта подчеркнутая обращенность к реципиенту, как известно, могла выражаться в разных формах. В авангардно ориентированных практиках она зачастую проявлялась в надменном третировании адресата, в эскалации эпатажа, провокативности, конфликтности и агрессии (по отношению к читателю и литературным противникам). (Предельной формой провокации становилась позиция абсолютного игнорирования собеседника, не имевшая, конечно же, ничего общего с имперсональной установкой классического традиционализма, умевшего обходиться без «интерактивной» диалогичности, но обращавшегося безусловно *ко всем и каждому*.)

В то же время в практике модернистов ответственно-традиционального, солидаристского склада (мы можем вслед за В. Тюпой называть их *неотрадиционалистами*) эта «адресованность», напротив, являла себя в устремленности к диалогу, взаимному угадыванию и свободному согласию («сближению, но не слиянию», по М. Бахтину [1; 364]) нетождественных сознаний. Между тем прежняя («риторическая») концепция слова как семантически стабильного, равного самому себе знака мало годилась для реализации подлинно диалогических стратегий. Орудием взаимопонимания суверенных, разнонаправленных сознаний могло стать только семантически открытое, «свободно блуждающее» слово⁴, вызывающее к читательскому сотворчеству, к инициативному участию адресата в художественном смыслообразовании. Символизм, покончив с рационалистически тесной прикреплённостью языковой единицы к определенному значению, стал последней каплей, сокрушившей классическую парадигму мышления с её поэтикой «готового слова»⁵. Литература была необратимо *отпущена на волю*⁶, и отныне регулятивные рычаги, опоры, «скрепы» художественной коммуникации приходилось искать не иначе как изнутри этой небывалой свободы, которая потенциально всегда чревата хаосом, провалом в тотальную

³ См.: Тюпа В.И. Постсимволизм. Теоретические очерки истории русской поэзии XX века. Самара, 1998; Тюпа В.И. Литература и ментальность. М., 2008; Тюпа В.И. Дискурсные формации. М., 2010.

⁴ Формула, восходящая к известному образу Мандельштама из статьи «Слово и культура»: «И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа... вокруг тела» [7; 53].

⁵ «Готовое слово» – понятие, введенное в научный оборот А.Н. Веселовским и получившее статус устойчивого термина благодаря трудам М.М. Бахтина и А.В. Михайлова.

⁶ Ср. с представлением О. Мандельштама (эссе «Скрябин и христианство») о художнике как о «вольнотпущеннике» [7; 37].

беспочвенность. Согласимся, однако, что готовность принять грозный вызов хаоса и готовность признать факт окончательной абсурдности бытия – далеко не одно и то же.

Характеризуя процесс ментального размежевания в постсимволизме, В. Тюпа выделяет три основных «вектора» устремлений, различающихся главным образом тем, как каждая из этих линий самоопределяется по отношению к вышеописанной *свободе* и перед лицом её зловещего двойника – радикального *произвола*, грозящего уничтожением всех бытийных иерархий. Эти «векторы» – 1) авангардизм с его культом абсолютной раскрепощенности; 2) соцреализм с его пафосом отречения от свободы во имя директивно утвержденной «истины», властно укрощающей хаос; и, наконец, 3) *неотрадиционализм*, исходящий из диалектического единства личной свободы и бытийной ответственности, несовместимой с постулатом о тотальной абсурдности мироздания [10; 111–221].

Позднее В. Тюпа значительно расширит рамки своей концепции, распространив её не только на литературно-художественный постсимволизм, но и на всю совокупность ментально-коммуникативных процессов неклассического времени. Ученый принципиально разграничивает три дискурсных формации и, соответственно, три типа сознания: 1) «постриторическое» (или «дивергентное»⁷), утверждающее неизбежную «уединенность» и разобщенность индивидуальных ментальностей; 2) «нормативно-риторическое» (квазиклассическое, «ролевое»), тяготеющее к регламентарности и авторитарному монологу; и 3) «неориторическое» («конвергентное»⁸), устремленное к диалогу и добровольной солидарности [11; 100 – 139, 140]. Дивергентное творческое сознание отождествляет свободу с *игрой без правил* и в художественной практике культивирует окказиональность (случайность, спонтанность) смыслообразования. Нормативистское – дезавуирует творческую свободу, предпочитая ей неукоснительное соблюдение общеобязательных (провозглашенных либо негласных) идеологических и эстетических конвенций, извне упорядочивающих как продуцирование художественных смыслов, так и процедуру их истолкования. Что касается конвергентного (*нео-традиционального*) сознания, то его творческие стратегии базируются на добровольном и ответственном поиске смысловых точек соприкосновения между совершенно свободными, автономными и ментально разноустремленными субъектами дискурса [10; 179–221]. Сама возможность подобной конвергенции обусловлена тем, что ни говорящий, ни слушающий (отвечающий), как указывал М. Бахтин, «не остаются каждый в своем собственном мире; напротив, они сходятся в новом, третьем мире, мире общения» [1; 210].

⁷От лат. *divergere* – отклоняться, расходиться.

⁸От лат. *convergo* – сходиться к одному центру.

Опираясь на бахтинскую концепцию диалогизма, В. Тюпа настойчиво говорит о *вероятностном, проективном и инспиративном* характере семиогенеза в неориторическом коммуникативном пространстве [11; 140], что подразумевает наличие некоей *золотой середины* междунормативистской однозначностью, культивируемой в XX столетии приверженцами официозного или воинствующе-ортодоксального искусства, и всеядной «сколь-угодно-значностью» (И. Роднянская), исповедуемой идеологами авангарда и постмодерна. Кроме того, универсализация первоначальной (хронологически ограниченной) типологии ментальностей до уровня общекультурных процессов новейшей истории создает условия для объединения бунтарски агрессивного авангардизма и предельно «толерантного» постмодернизма в рамках одного (*дивергентного*) типа сознания, ориентированного на индивидуалистическую аксиологию и, как следствие, на радикальное освобождение от власти объективной *истины*.

Гипотеза о *постреализме*, впервые озвученная в 1992 году [4; 20–22] и основательно разработанная Н. Лейдерманом и М. Липовецким в последующих трудах⁹, стала (наряду с концепцией неотрадиционализма) одной из наиболее убедительных попыток выявления *срединной линии* в отечественном литературном процессе XX столетия¹⁰, равно альтернативной как безнадежному скепсису авангарда/постмодерна, так и доктринальной невозмутимости новейшего нормативизма. Знаменательно, что специфику постреалистической позиции Н. Лейдерман усматривает в стремлении к «космографическому» мышлению, в отказе от малодушной капитуляции перед Хаосом, в установке на смыслоцентричный диалог с иррациональными и непостижимыми началами бытия [6; 224–237]. «Существеннейшую особенность постреализма» Лейдерман видит в том, что «“парадигма” этого метода вновь восстанавливает Космос ... из Хаоса» [4; 24]. «Предложенный Н.Л. Лейдерманом термин “постреализм”, – замечает по этому поводу В.И. Тюпа, – представляется малоудачным, однако круг явлений, очерчиваемый этим понятием, в основном совпадает с неотрадиционализмом в нашем понимании» [10; 226].

Тем не менее приходится признать, что некоторые аспекты данной теоретической модели вызывают вопросы. Прежде всего – настойчивое стремление Н. Лейдермана и М. Липовецкого поставить «космографическое» мышление современных писателей под знак так называемой «релятивности». При этом практического разграничения между *релятивностью* как подвижной соотносительностью значений и *релятивизмом* как условностью-

⁹ См.: Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме // Новый мир. 1993. №7; Лейдерман Н.Л. Траектории «экспериментирующей эпохи» // Вопросы литературы, 2002, № 4; Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: В 2 т. М., 2003; Лейдерман Н.Л. Постреализм: Теоретический очерк. Екатеринбург, 2005 и др.

¹⁰ К концепции постреализма во многом примыкает выдвинутый М. Липовецким концепт *неоакмеизма* [6; 297–303].

необязательностью любых смыслов соавторы в должной мере не проводят (хотя в декларативном плане различают эти явления¹¹). По мнению Лейдермана и Липовецкого, постреалисты «ищут смысл, не предполагая его наличия во вселенной», пытаются «...искать, пусть хрупкие, пусть субъективные, но – константы бытия». Неудивительно, что, утверждая это, исследователи сразу же оговариваются: «Конечно, понятие Абсолюта здесь будет не очень-то точным, скорее условным» [5; 252]. Очевидно, что в подобном контексте понятия «смысл», «константы бытия», «абсолют» (и т.п.) лишаются существенной доли своего традиционного значения и становятся почти окказионализмами. Причем это «хрупкое», «субъективное», «не очень точное» и «скорее условное» понимание «абсолюта» возводится учеными к теоретическим построениям М. Бахтина (заложившего, по их мнению, «основы новой релятивной эстетики» [5; 237]), вследствие чего тень релятивизма волей-неволей падает и на автора «Проблем поэтики Достоевского», с чем согласиться особенно трудно¹². Вот как комментирует этот казус В. Тюпа: «...Лейдерман проникательно сблизил эстетику Бахтина с поэтикой Мандельштама... однако их общий знаменатель ошибочно поименовал “релятивизмом”, тогда как речь следовало бы вести о “диалогизме” конвергентного сознания. Релятивизм игнорирует онтологический статус бытия, что Бахтину с его концепцией ответственности совершенно чуждо» [10; 226]¹³. Правда, данное возражение относится к суждениям из работы Н. Лейдермана, написанной в 1992 году [4; 20 – 22]; в последующих трудах Лейдерман и Липовецкий предпочитали говорить не о релятивизме, а о релятивности, однако общий логический контекст отстаиваемой ими позиции не претерпел кардинальных изменений.

Очевидно, что подобный подход (убедительно оспариваемый В. Тюпой) существенно затрудняет задачу разграничения дивергентной и конвергентной линий в неклассической литературе. В стремлении приблизиться к разрешению этой проблемы мы исходим из того, что динамизм неклассического сознания вовсе не означает «условности» всех и всяческих истин. Здесь-то как раз, на наш взгляд, и проходит черта, отделяющая объективно-ориентированный (нео-онтологический) дискурс в новейшей словесности от других постклассических дискурсов. Этот тип мышления, являющийся ментальной основой неотрадиционализма, принимает неклассическую многополярность, «не-эвклидовость», *реляционность* мира (и, соответственно, познания) как непреложный факт, включает его в

¹¹ Формальное указание на то, что релятивность не равна релятивизму, присутствует в ряде работ Липовецкого и Лейдермана, начиная со статьи 1993 года «Жизнь после смерти...» [5].

¹² Принципиально иную интерпретацию идей М. Бахтина см. в очерке В. Тюпы «“Диалог согласия” как неориторический проект Бахтина» [11; 294 - 307].

¹³ Продолжение цитаты не менее важно: «Специфика неклассической бахтинской онтологии, составляющая своего рода ключ к неотрадиционализму, в том, что онтологическая основа мира мыслится не бессубъектно объективной, а интересубъективной» [10; 226].

свой опыт, но отказывается делать из этого релятивистские выводы, продолжая в новых, изменившихся условиях утверждать бытийную реальность сверхличных универсалий и ведущего к их постижению духовного опыта.

Существенным прорывом в изучении акмеистской поэзии именно как феномена неклассической конвенциональности стал ценнейший по своим наблюдениям и выводам коллективный труд ученых «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма» (1974), авторы которого обнаруживают в лирике Мандельштама и Ахматовой «необыкновенно развитое чувство историзма... переживание истории в себе и себя в истории...», а также осмысление памяти, воспоминания как «глубоко нравственного начала, противостоящего беспмятству, забвению и хаосу, как основы творчества, веры и верности» [3; 49 - 50]¹⁴. Вместе с тем, пытаясь концептуально примирить тезисы а) осмысловой незавершенности, открытости, «вероятности» постсимволистских текстов и б) об их парадоксальной традиционности, – ученые не везде благополучно избегают противоречий. Характеризуя неклассические художественные стратегии крупнейших акмеистов, авторы исследования активно используют такие понятия, как «релятивность», «неопределенность», «окказиональность» и т.п., хотя общий вектор предпринятого рассмотрения нацелен на утверждение принципиальной смыслоцентричности и смыслового единства анализируемых текстов. С одной стороны: в «семантической поэтике» «все скреплялось единым стержнем смысла, призванного восстановить соотносимость истории и человека» [3; 67]. С другой стороны: «...один и тот же элемент может насыщаться разными смыслами, функциями, приобретать способность к *окказиональным* (курсив мой. – О.С.) склеиваниям и членениям...» [3; 69]. Нетрудно догадаться, что речь идет о новой, *аллюзивной* (В. Тюпа) семантике открытого типа, рассчитанной на вариативность прочтений, на встречную «домысливающую» активность читателя. Так, у Мандельштама «...одни и те же элементы поэтического текста (одни и те же их конфигурации) приобрели способность одновременно передавать целый набор поэтических смыслов разных уровней...» [3; 72].

Как видим, описывается явление, которое неоднократно было описано самим Мандельштамом (в «Разговоре о Данте», в эссе «Слово и культуры», «О природе слова» и др.) и коррелирует скорее с его пониманием неклассического творчества как дозволенных Самим Христом «жмурок и прятков духа» [7; 37], нежели с устремлениями новейших релятивистов, настаивающих на том, что слово может значить всё что угодно. Демонстрируя безупречную осведомленность в тонкостях мандельштамовской поэтологии и философии творчества, авторы коллективного исследования насыщают обзор (и анализ) многочисленными отсылками к опорным концептам и основополагающим формулам самого

¹⁴ Именно эти цитаты М. Липовецкий берет на вооружение, характеризуя *неоакмеизм* [6; 297–303].

поэта (принцип «динамизма», трактовка слова как «орудийного элемента, меняющегося в процессе поэтической речи» [3; 68] и т.д.). Однако столь существенное для Мандельштама различие между динамической открытостью слова и его безнадежной окказиональностью (смысловой «всеядностью») не везде проводится учеными достаточно отчетливо. Размышляя о присущей мандельштамовскому слову «способности одновременно передавать целый набор поэтических смыслов разных уровней», авторы работы приходят к выводу, что «для этого необходимо было релятивизировать слово, привести в динамическое состояние все мыслимые его компоненты...» [3; 68]¹⁵. Контекст данного суждения позволяет догадаться, что понятие релятивности привлекается в качестве аналога (синонима) смыслового динамизма и вовсе не означает произвольности (случайности) словоупотребления. Между тем в ряде других контекстов это же понятие и другие, близкие ему («неопределенность», «окказиональность» и т.п.), настоятельно вызывают к разъяснениям и уточнениям. Например, «содержание важнейшей части акмеистической деятельности» представлено в статье как «упорные поиски такого слова, в котором ничто не устоялось, где все было выведено из словарных и символических ассоциаций, все неопределенно...». И далее: «Такое слово было чревато неисчерпаемым запасом неожиданностей...» [3; 71].

Избежать ложной интерпретации подобных высказываний в духе полнейшего релятивизма помогает целостный контекст статьи, не оставляющий сомнений в том, что авторы весьма далеки от намерения приписывать Мандельштаму и Ахматовой безответственное жонглирование языковыми единицами, которые дозволено трактовать как заблагорассудится. Приведем еще одну цитату: «Между этими элементами (произведения. – *О.С.*) находится разреженное пространство, в котором не могут выжить привычные автоматические семантические связи. Слово как бы рождается заново и вольно выбрать себе нужное значение в зависимости от общего задания текста» [3; 73]. В этом фрагменте всё ставит на свои места концовка. Мысль об открытости, недосказанности, разомкнутости смысла («разреженное пространство» как поле диалога с «провиденциальным собеседником» [7; 11]), о борьбе с автоматизмом восприятия (интенция, сближающая Мандельштама с ОПОЯЗом), о вольном избрании словом желанного значения [7; 53] (излюбленный поэтологический мотив автора «Слова и культуры») получает свое проясняющее завершение в словах о «зависимости от общего задания текста». Ими упорядочивается и ограничивается поле «открытости» и «свободы». Присущая новой «семантической поэтике» акмеистов нескованность смыслообразования тесными риторическими рамками благодаря итоговому

¹⁵ Речь идет о способности, в основном освоенной уже символистами и вовсе не обязательно предполагающей равноценность любых, каких угодно истолкований. Позднее подобный тип символизации, основанный на бытийном единстве означающего и означаемого, был квалифицирован М. Эпштейном как «метабола» [12; 212–220]. Термин этот активно использует и В. Тюпа [11; 281–282].

замечанию интерпретаторов уже не воспринимается как безбрежная и абсолютная. Эвристическая раскрепощенность, реализуемая на одном уровне, снимается на другом, более высоком, посредством подчинения всего «пиршества» многозначности общей (и вполне строгой) архитектонике замысла. Концепты «зависимости» и «задания», не отменяя и не умаляя значения концепта «вольного выбора», решительно исключают возможность истолкования всего смыслового целого (приведенного отрывка) как утверждения окказионально-произвольной природы семантических стратегий акмеизма. Окончательно укрепиться в правильности именно такого понимания вектора мысли Ю. Левина и соавторов могут помочь другие цитаты из статьи. Например: «...характерно для поэтики акмеизма (и Мандельштама в особенности) подчеркивание смыслового единства мира путем проведения через *весь* текст (а иногда и цикл) уже упомянутых выше смысловых сочетаний... что приобретает масштабы глобального принципа, организующего мировосприятие» [3; 75]. Тут уж, пожалуй, не остается места для релятивистских подозрений. И, наконец, последний пример. Почти сразу после укоризненно процитированного нами выше суждения о якобы свойственной текстуальным элементам (у Мандельштама и Ахматовой) «способности к окказиональным склеиваниям и членениям» говорится о том, что в этих условиях «сохраняется возможность выбора между элементами парадигмы» [3; 69]. Итак, в очередной раз констатируется *свобода выбора*, но не из бесконечного количества равноценных вариантов (что, в сущности, означало бы свободу выбора *какого угодно* прочтения), а исключительно «между элементами парадигмы». И здесь уже само употребление понятия «парадигма» (то же, что образец, канон) применительно к акту понимания красноречивее всего свидетельствует о несовместимости постулируемой авторами свободы с провокативной беспринципностью дивергентного мышления.

В данной связи особенно актуальной представляется принадлежащая В. Тюпе характеристика неотрадиционного отношения к слову: «С этого полюса культуры самовольная игра со словом видится занятием, близким к надругательству и кощунству <...> Установка неотрадиционного письма состоит не в том, чтобы “дурачить язык” (выражение Р. Барта. – *О.С.*)... а в том, чтобы извлечь... сверхкоммуникативный эффект...<...>...обрести себя в интересующей реальности слова, войти в его веками складывающееся семантическое поле...» [10; 204].

Список литературы

1. Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. – М.: ИМЛИ РАН, 1997. – 735 с.
2. Генис А. Вид из окна // Новый мир. – 1992. – № 8. – С. 218–227.

3. Ю.И. Левин, Д.М. Сегал, Р.Д. Тименчик, В.Н. Топоров, Т.В. Цивьян. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // *RussianLiterature*. – Vol. 7/8. – Amsterdam, 1974. – С. 47 – 82.
4. Лейдерман Н.Л. Теоретические проблемы изучения русской литературы XX века // *Русская литература XX века: направления и течения*. Вып. 1. – Екатеринбург, 1992. – С. 6 – 27.
5. Лейдерман Н., Липовецкий М. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме // *Новый мир*. – 1993. – № 7. – С. 233–252.
6. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: в 2 т. Т. 2. – М., 2006. – 688 с.
7. Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем: в 3 томах. Т. 2. – М., 2010. – 759 с.
8. Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994. – 693 с.
9. Роднянская И. NB на полях благодетельного абсурда // *Новый мир*. – 1992. – № 8. – С. 225-227.
10. Тюпа В. Литература и ментальность. – М., 2008. – 276 с.
11. Тюпа В. Дискурсные формации. – М., 2010. – 320 с.
12. Эпштейн М. Парадоксы новизны. – М., 1988. – 416 с.

Рецензенты:

Клинг О.А., д.фил.н., профессор, заведующий кафедрой теории литературы филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва.

Тюпа В.И., д.фил.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и исторической поэтики РГГУ, г. Москва.